Лев Глево… Лев Глебович? Ну и имя у вас, батенька, язык вывихнуть можно…Так вот: всякое имя обязывает. Лев и Глеб — сложное, редкое соединение. Оно от вас требует сухости, твердости, оригинальности.

Пансион был русский и притом неприятный. Неприятно было главным образом то, что день-деньской и добрую часть ночи слышны были поезда городской железной дороги, и оттого казалось, что весь дом медленно едет куда-то.

а последнее время он стал вял и угрюм. Еще так недавно он умел, не хуже японского акробата, ходить на руках, стройно вскинув ноги и двигаясь, подобно парусу, умел зубами поднимать стул и рвать веревку на тугом бицепсе. В его теле постоянно играл огонь, — желанье перемахнуть через забор, расшатать столб, словом — ахнуть, как говорили мы в юности. Теперь же ослабла какая-то гайка, он стал даже горбиться и сам признавался Подтягину, что, «как баба», страдает бессонницей.

В прошлом году, по приезде в Берлин, он сразу нашел работу и потом до января трудился, — много и разнообразно: знал желтую темноту того раннего часа, когда едешь на фабрику; знал тоже, как ноют ноги после того, как десять извилистых верст пробежишь с тарелкой в руке между столиков в ресторане «Pir Goroi»; знал он и другие труды, брал на комиссию все, что подвернется, — и бублики, и бриллиантин и просто бриллианты. Не брезговал он ничем: не раз даже продавал свою тень подобно многим из нас. Иначе говоря, ездил в качестве статиста на съемку, за город, где в балаганном сарае, с мистическим писком закипали светом чудовищные фацеты фонарей, наведенных, как пушки, на мертвенно-яркую толпу статистов, палили в упор белым убийственным блеском, озаряя крашеный воск застывших лиц, щелкнув, погасали, — но долго еще в этих сложных стеклах дотлевали красноватые зори: — наш человеческий стыд. Сделка была совершена, и безымянные тени наши пущены по миру.

Оставшихся денег было бы достаточно, чтобы выехать из Берлина. Но для этого пришлось бы порвать с Людмилой, а как порвать, — он не знал. На него нашло то, что он называл «рассеянье воли». Он сидел не шевелясь перед столом и не мог решить, что ему делать: переменить ли положение тела, встать ли, чтобы пойти вымыть руки, отворить ли окно, за которым пасмурный день уже переходил в сумерки… Это было мучительное и страшное состояние, несколько похожее на ту тяжкую тоску, что охватывает нас, когда, уже выйдя из сна, мы не сразу можем раскрыть, словно навсегда слипшиеся, веки.

 я математик, ты мать-и-мачеха…— Одним словом: цифра и цветок, — холодно сказал Ганин. Только Клара улыбнулась. Ганин стал наливать себе воды, все смотрели на его движенье.

— Да, вы правы, нежнейший цветок, — протяжно сказал Алферов, окинув соседа своим блестящим, рассеянным взглядом.— Прямо чудо, как она пережила эти годы ужаса. Я вот уверен, что она приедет сюда цветущая, веселая… Вы — поэт, Антон Сергеевич, опишите-ка такую штуку, — как женственность, прекрасная русская женственность, сильнее всякой революции, переживает все, — невзгоды, террор…Колин шепнул Ганину: «Вот он опять… Вчера уже только и было речи, что об его жене…»«Экий пошляк, — подумал Ганин, глядя на движущуюся бородку Алферова, — а жена у него, верно, шустрая… Такому не изменять — грех…»

(В кинематографе)Двойник Ганина тоже стоял и хлопал, вон там, рядом с чернобородым, очень эффектным господином, с лентой поперек белой груди. Он попадал всегда в первый ряд за эту вот бородку и крахмальное белье, а в перерывах жевал бутерброд, а потом, после съемки, надевал поверх фрака убогое пальтишко и ехал к себе домой, в отдаленную часть Берлина, где работал наборщиком в типографии.

И Ганин в этот миг почувствовал не только стыд, но и быстротечность, неповторимость человеческой жизни. Там, на экране, его худощавый облик, острое, поднятое кверху лицо и хлопавшие руки исчезли в сером круговороте других фигур, а еще через мгновенье зал, повернувшись как корабль, ушел, и теперь показывали пожилую, на весь мир знаменитую актрису, очень искусно изображавшую мертвую молодую женщину. «Не знаем, что творим», — с отвращеньем подумал Ганин, уже не глядя на картину.

И когда потом он лег в постель и слушал поезда, насквозь проходившие через этот унылый Дом, где жило **семь русских потерянных теней, — вся жизнь ему представилась той же съемкой**, во время которой равнодушный статист не ведает, в какой картине он участвует.

женское лицо, всплывшее опять после многих лет житейского забвенья, — вдруг, пока мчишься и безумствуешь так, вежливо остановит тебя прохожий и спросит, как пройти на такую-то улицу — голосом обыкновенным, но которого уже никогда больше не услышишь. ( не видел 4 года)

Да. Я, оказывается, люблю другую женщину. Я пришел с тобой проститься.Она заморгала спутанными своими ресницами, прикусила губу.— Это, собственно, все, — сказал Ганин. — Мне очень жаль, но ничего не поделаешь. Мы сейчас простимся. Я полагаю, что так будет лучше. **Ганин почувствовал, что свободен.**

Девять лет тому назад… Лето, усадьба, тиф… Удивительно приятно выздоравливать после тифа.

В этой комнате, где в шестнадцать лет выздоравливал Ганин, и зародилось то счастье, тот женский образ, который, спустя месяц, он встретил наяву. **Он был богом, воссоздающим погибший мир. Он постепенно воскрешал этот мир,** в угоду женщине, которую он еще не смел в него поместить, пока весь он не будет закончен. Но ее образ, ее присутствие, тень ее воспоминанья требовали того, чтобы наконец он и ее бы воскресил, — и он нарочно отодвигал ее образ, так как желал к нему подойти постепенно, шаг за шагом, точно так же как тогда, девять лет тому назад. Боясь спутаться, затеряться

**Решил украсть фотографию-застала** Клара -— Бедный мой, — бормотала она, — до чего жизнь довела его. И что я могу ему сказать…

Оставшись один, Ганин поудобнее уселся в старом зеленом кресле и в раздумье улыбнулся. Он зашел к старому поэту, оттого что это был, пожалуй, единственный человек, который мог бы понять его волненье. Ему хотелось рассказать ему о многом, — о закатах над русским шоссе, о березовых рощах. В переплетенных старых журналах «Всемирная Иллюстрация» да «Живописное Обозрение» ведь бывали под виньетками стихи этого самого Подтягина. — В школе, в последних классах, мои товарищи думали, что у меня есть любовница, да еще какая: светская дама. Уважали меня за это. Я ничего не возражал, так как сам распустил этот слух. — Вот вы о русской деревне говорили, Лев Глебович. Вы-то, пожалуй, увидите ее опять. А мне тут костьми лечь. Или, если не здесь, то в Париже. Совсем я сегодня раскис что-то. Простите. Знаете что, Антон Сергеевич? У меня начался чудеснейший роман. Я сейчас иду к ней. Я очень счастлив. Подтягин приветливо кивнул.

 для Ганина было только одно: он смотрел перед собой на каштановую косу в черном банте, чуть зазубрившемся на краях, он гладил глазами темный блеск волос, по-девически ровный на темени. Когда она поворачивала в сторону лицо, обращаясь быстрым, смеющимся взглядом к соседке, он видел и темный румянец ее щеки, уголок татарского горящего глаза, тонкий изгиб ноздри, которая то щурилась, то расширялась от смеха Он не помнил, когда он ее увидел опять, — на следующий день или через неделюОна жила в Воскресенске, и в тот же час, как и он, выходила бродить в пустыне солнечного вечера. Он замечал ее издали, и сразу холодело в груди. Она шла быстро, засунув руки в карманы темно-синей, под цвет юбки, шевиотовой кофточки, надетой поверх белой блузки, и Ганин, как тихий ветер нагоняя ее, видел только складки синей материи, которые на спине у нее слегка натягивались и переливались, да черный шелковый бант, распахнувший крылья. «Машенька, Машенька, — зашептал Ганин, — Машенька…» — и набрал побольше воздуха, и замер, слушая, как бьется сердце. — Она, впрочем, у меня расторопная, — говорил тем временем Алферов. — В обиду себя не даст. Не даст себя в обиду моя женка. **Воспоминанье так занимало его, что он не чувствовал времени. Тень его жила в пансионе госпожи Дорн, — он же сам был в России, переживал как действительность** конец июля на севере России уже пахнет слегка осенью

У нее были прелестные бойкие брови, смугловатое лицо, подернутое тончайшим шелковистым пушком, придающим особенно теплый оттенок щекам; ноздри раздувались пока она говорила, посмеиваясь и высасывая сладость из травяного стебля; голос был подвижный, картавый, с неожиданными грудными звуками, и нежно вздрагивала ямочка на открытой шее. Он теперь ежедневно встречался с Машенькой, по той стороне реки, где стояла на зеленом холму пустая белая усадьба, и был другой парк, пошире и запущеннее, чем на мызе. ъявил Машеньке, что давно любит ее.

Они так много целовались в эти первые дни их любви, что у Машеньки распухали губы, и на шее, такой всегда горячей под узлом косы, появлялись нежные подтеки. Она была удивительно веселая, скорее смешливая, чем насмешливая. Любила песенки, прибаутки всякие, словечки да стихиИ Ганин на мгновенье отстал от своего воспоминанья, подумал о том, как мог прожить столько лет без мысли о Машеньке, — и сразу опять нагнал ее: она бежала по шуршащей темной тропинке, черный бант мелькал, как огромная траурница, в ту черную, бурную ночь, когда, накануне отъезда в Петербург к началу школьного года, он в последний раз встретился с ней на этом перроне с колоннами, случилось нечто страшное и нежданное, символ, быть может, всех грядущих кощунств. В эту ночь особенно шумно шел дождь, и особенно нежной была их встреча. И внезапно Машенька вскрикнула, спрыгнула с перил. И при свете спички Ганин увидел, что ставня одного из окон, выходящих на перрон, отвернута, что к черному стеклу изнутри прижимается, сплющив белый нос, человеческое лицо. Оно двинулось, скользнуло прочь, но оба они успели узнать рыжеватые вихры и выпученный рот сына сторожа, зубоскала и бабника лет двадцати, всегда попадавшегося им в аллеях парка. И Ганин одним бешеным прыжком кинулся к окну, просадил спиною хряснувшее стекло, ввалился в ледяную мглу и с размаху ударился головой в чью-то крепкую грудь, которая екнула от толчка. И в следующий миг они сцепились, покатились по гулкому паркету, задевая во тьме мертвую мебель в чехлах, и Ганин, высвободив правую руку, стал бить каменным кулаком по мокрому лицу, оказавшемуся вдруг под ним. И только когда сильное тело, прижатое им к полу, вдруг обмякло и стало стонать, он встал и тяжело дыша, тыкаясь во тьме о какие-то мягкие углы, добрался до окна, вылез опять на перрон, отыскал рыдавшую, перепуганную Машеньку — и тогда заметил, что изо рта у него течет что-то теплое, железистое, и что руки порезаны осколками стекла. А утром он уехал в Петербург — и по дороге на станцию, из окна глухо и мягко стучавшей кареты, увидел Машеньку, шедшую по краю шоссе вместе с подругами. Стенка, обитая черной кожей, мгновенно закрыла ее, и так как он был не один в карете, то он не решился взглянуть в заднее овальное оконце.

Судьба в этот последний августовский день дала ему наперед отведать будущей разлуки с Машенькой, разлуки с Россией. И только в ноябре Машенька переселилась в Петербург. Они встретились под той аркой, где — в опере Чайковского — гибнет Лиза. И Машенька в это первое петербургское свидание показалась слегка чужой, оттого, быть может, что была в шляпе и в шубке. С этого дня началась новая — снеговая — эпоха их любвиВсякая любовь требует уединенья, прикрытия, приюта, а у них приюта не было. Их семьи не знали друг друга; эта тайна, которая сперва была такой чудесной, теперь мешала им.

в самом начале нового года Машеньку увезли в Москву.И странно: эта разлука была для Ганина **облегченьем.**Он знал, что летом она вернется в дачное место под Петербургом, он сперва много думал о ней, воображал новое лето, новые встречи, писал ей все те же пронзительные письма, а потом стал писать реже, а когда сам переехал на дачу в первые дни мая, то и вовсе писать перестал. И в эти дни он **успел сойтись и порвать с нарядной, милой, белокурой дамой, муж которой воевал в Галиции**.

И потом Машенька вернулась. — Я твоя, — сказала она. — Делай со мной, что хочешь.

Молча, с бьющимся сердцем, он наклонился над ней, забродил руками по ее мягким, холодноватым ногам. Но в парке были странные шорохи, кто-то словно все приближался из-за кустов; коленям было твердо и холодно на каменной плите; Машенька лежала слишком покорно, слишком неподвижно.

Он застыл, потом неловко усмехнулся. — Мне все кажется, что кто-то идет, — сказал он и поднялся.

Машенька вздохнула, оправила смутно белевшее платье, встала тоже.

И потом, когда они шли к воротам по пятнистой от луны дорожке, Машенька подобрала с травы бледно-зеленого светляка. Она держала его на ладони, наклонив голову, и вдруг рассмеялась, сказала с чуть **деревенской ужимочкой: «В обчем — холодный червячок».** **Машеньку он разлюбил, — и когда через несколько минут он покатил в лунную мглу домой по бледной полосе шоссе, то знал, что больше к ней не приедет.Лето прошло; Машенька не писала, не звонила, он же занят был другими делами, другими чувствами.** **же в год революции, он еще раз увиделся с Машенькой.Он был на перроне Варшавского вокзалана площадке, глядя на него сверху, стояла Машенька. За год она изменилась, слегка, пожалуй, похудела и была в незнакомом синем пальто с пояском. Ганину было страшно грустно смотреть на нее, — что-то робкое, чужое было во всем ее облике, посмеивалась она реже, все отворачивала лицо. И на нежной шее были лиловатые кровоподтеки,** Она слезла на первой станции, и он долго смотрел с площадки на ее удалявшуюся синюю фигуру, и чем дальше она отходила, тем яснее ему становилось, что он никогда не разлюбит ее. Она не оглянулась. Из сумерек тяжело и пушито пахло черемухой.**Больше он не видался с Машенькой.«А завтра приезжает Машенька, — воскликнул он про себя, обведя блаженными, слегка испуганными глазами потолок, стены, пол. — Завтра же я увезу ее», — подумал он с тем же глубоким мысленным трепетом, с тем же роскошным вздохом всего существа.**

**И было что-то трогательно-чудесное, — как в капустнице, перелетающей через траншею, — в этом странствии писем через страшную Россию.** **«Счастье, — повторил тихо Ганин, складывая все пять писем в ровную пачку. — Да, вот это — счастье. Через двенадцать часов мы встретимся».** **— Давно ли вы покинули Россию?— Шесть лет, — ответил он коротко,** **Ганин, сильной белой рукой сжав грядку кровати, глядел старику в лицо, и снова ему вспомнились те дрожащие теневые двойники русских случайных статистов, тени, проданные за десять марок штука и Бог весть где бегущие теперь в белом блеске экрана. Он подумал о том, что все-таки Подтягин кое-что оставил, хотя бы два бледных стиха, зацветших для него, Ганина, теплым и бессмертным бытием: так становятся бессмертными дешевенькие духи или вывески на милой нам улице. Жизнь на мгновенье представилась ему во всей волнующей красе ее отчаянья и счастья, — и все стало великим и очень таинственным, — прошлое его, лицо Подтягина, облитое бледным светом, нежное отраженье оконной рамы на синей стене, — и эти две женщины в темных платьях, неподвижно стоящие рядом.** **нин глядел на легкое небо, на сквозную крышу — и уже чувствовал с беспощадной ясностью, что роман его с Машенькой кончился навсегда. Он длился всего четыре дня, — эти четыре дня были быть может счастливейшей порой его жизни. Но теперь он до конца исчерпал свое воспоминанье, до конца насытился им, и образ Машеньки остался вместе с умирающим старым поэтом там, в доме теней, который сам уже стал воспоминаньем.**

**И кроме этого образа, другой Машеньки нет, и быть не может.Он дождался той минуты, когда по железному мосту медленно прокатил шедший с севера экспресс. Прокатил, скрылся за фасадом вокзала.Тогда он поднял свои чемоданы, крикнул таксомотор и велел ему ехать на другой вокзал, в конце города. Он выбрал поезд, уходивший через полчаса на юго-запад Германии, заплатил за билет четверть своего состояния и с приятным волненьем подумал о том, как без всяких виз проберется через границу, — а там Франция, Прованс, а дальше — море.И когда поезд тронулся, он задремал, уткнувшись лицом в складки макинтоша, висевшего с крюка над деревянной лавкой.Берлин, 1926 г.**





Машеньку», свой первый роман (ставший последним из переведенных автором на английский язык), Набоков считал «пробой пера». Альфред Аппель вспоминает, что на всех подписанных ему книгах Набоков нарисовал бабочку и лишь на берлинском издании «Машеньки» (1926) «яйцо», «личинку» и «куколку», Ряд элементов, повторяясь в тексте, образует символ. «Чуть зазубрившийся на краях» бант Машеньки (Ганин впервые видит героиню со спины на концерте) впоследствии сравнивается с бабочкой: «черный бант мелькал, как огромная траурница» (77); «бант, распахнувший крылья» (68). Это сравнение превращает деталь в многозначный для поэтической системы Набокова символ (сам Набоков, однако, говорил, что бабочка как символ ему безынтересна: «That in some cases the butterfly symbolizes something (e. g., Psyche) lies utterly outside my area of interest»[884]).

Характерно, что когда герой ощущает кризис своих отношений с Машенькой, он при встрече с ней отмечает: «…бант исчез, и поэтому ее прелестная головка казалась меньше» (85).